

О ВЛАСТИ ЯЗЫКА И ЯЗЫКЕ ВЛАСТИ

Э. Р. ПАССАН

В оный день, когда над миром новым
 Бог склонил лицо свое, тогда
 Солнце оставивляли Словом,
 Словом разрушали города.
 (Н. Гумилев)

Довольно распространенным сегодня является положение: язык — орудие власти. Это давно чувствовали поэты, об этом говорили философы, механизмы осуществления этой власти обсуждают предшественники достаточно отстоящих друг от друга в недалеком прошлом направлений лингвистической науки. „Мы не замечали власти, тающейся в языке...“ [Барт, 1989, с. 548], „...обычное повседневное использование языка предполагает осуществление власти...“ [Блакар, 1987, с. 90]. Известный французский семиолог Р. Барт видит проявление власти языка в том, что говорящий, пользуясь средствами языка для передачи информации, вынужден оформлять свое сообщение так, как диктует ему система языка, т. е. выбирать определенный род, обозначать себя, указывать на время действия, пользоваться местоимениями *ты* или *вы* и т. д. Интересно сравнение Р. Барта: язык — „это обыкновенный фашист, ибо сущность фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто“ [Барт, там же, с. 548]. Ученый говорит о той власти, которой язык обладает над говорящим на нем, но гораздо более сильную власть, делающую людей, по словам О. Хаксли, „одинаково способными как на преступления, так и на героический поступок, на интеллектуальные достижения, но в то же время часто на такую глупость и идиотизм, которые и не снились ни одному бессловесному зверю“, имеет человеческий язык над теми, кто воспринимает сообщение на нем.

В чем же заключается власть языка даже в его повседневном использовании? „Произнесение каких-то слов часто и даже обычно оказывает определенное последующее воздействие (effect) на чувства, мысли или действия аудитории, говорящего или других лиц...“ [Остин, 1986, с. 88]. „При этом имеется в виду не сам факт понимания адресатом смысла высказывания, а те изменения в состоянии или поведении адресата, которые являются результатом этого понимания“ [Булыгина, 1981, с. 336]. Действительно, восприятие сообщения меняет картину мира адресата и соответственно определяет модель его будущего пове-

дения; эмоции, испытываемые говорящим, могут вызвать у адресата ответную гамму чувств и побудить его к поступкам, спектр которых гигантски широк — от величайших взлетов духа до человеческих драм.

Благодаря чему язык обладает подобной властью? „Каждый языковой элемент является очень сложным и чувствительным инструментом, на котором играет тот, кто пользуется языком. Таким образом, восприятие и понимание, рождающиеся у получателя, зависят от того, как пользуется этим тонким инструментом отправитель. В действительности именно эта игра с различными компонентами слова и происходящими с ним процессами всегда эксплуатировалась в риторике, политической демагогии, а также в поэзии“ [Блакар, 1937, с. 97].

Писатель Роман Солнцев предложил запретить „политическую грескотню, ложную коммунистическую фразу и вообще всякую демагогию как преступление против души человеческой“ (ЛГ. 1989. № 46). Но как это реально осуществить? Может ли лингвистика помочь в распознавании того, что является „трескотней и демагогией“, может ли лингвист установить индикаторы лжи?

К демагогии и политической лжи сегодня обращаются представители самых разных наук. Так, журнал „Наука и жизнь“ под рубрикой „Ученые шутят“ печатает вполне серьезную статью доктора физико-математических наук Б. Каценеленбаума „Демагогия: опыт классификации“, автор которой понимает под демагогией „совокупность методов, позволяющих создать впечатление правоты, не будучи правым“ [Каценеленбаум, 1989, с. 64]. Автор считает, что ложь, как всякое явление, требует своего изучения и классификации. Является ли это задачей лингвистики? „Истина — проблема лингвистическая“, — пишет американский ученый Д. Болинджер, выделяя некоторые виды обмана [Болинджер, 1987, с. 23]. „Лингвистика лжи“ — называет свою статью Х. Вайнрих, исследовавший в недалеком прошлом внутреннюю структуру языка [Вайнрих, 1987, с. 44]. Итак, лингвисты обратились к истине и лжи и прежде всего — к проявлению лжи в языке политики. Поскольку ложь выражается языком, постольку могут быть рассмотрены лингвистические элементы ее механизма.

В истории существования советского общества было, к сожалению, немало шумных обвинительных процессов и кампаний, несостоятельности, лживости которых время вынесло своей приговор. Это процессы 30-х гг., это громкие „литературные дела“. Люди, игравшие в них роль обвинителей, часто не имея доказательств, зная о невинности обвиняемых, а в литературных кампаниях — не читая „опальных“ произведений, тем не менее страстно обрушивались на обвиняемых, призывая к самым решительным мерам против них и склоняя общественное мнение в свою пользу. Лгали ли они? Было ли это демагогией? Государственный обвинитель прокурор СССР А. Я. Вышинский, по свидетельству А. Орлова, выступая на процессе над Зиновьевым и Каменевым, знал о полной невинности своих жертв, знал и о том, что они будут расстреляны в подвалах НКВД. Участники других процессов, выступая

в роли палачей, могли искренно заблуждаться в оценке обвиняемых. По Аристотелю, все многообразие ошибок того, что люди говорят или советуют, определяется тремя вещами: – разумом, добродетелью, благорасположением: „они (люди) неверно рассуждают или благодаря своему неразумию, или же, верно рассуждая, они вследствие своей нравственной негодности говорят не то, что думают, или, наконец, они разумны и честны, но не благорасположены“ [Аристотель, 1987, с. 37]. Таким образом, неистинность обвинительных речей в упомянутых процессах могла объясняться различными причинами, но весьма широкое определение Б. Каценеленбаума позволяет считать все эти речи относящимися к демагогии, ибо их авторы создавали впечатление правоты, о правоте не задумываясь и правыми не будучи. Какими приемами, языковыми средствами удавалось создавать видимость правоты, в главное вызывать согласие и одобрение в широких кругах тех, кто им внимал? „В успехе демагогии виноват также и слушатель. Демагогия – спектакль, и он возможен, только если зритель принимает правила и условия игры. Но в этом спектакле демагогия не искусство, а ремесло, овладеть которым может каждый. Распознавать тоже“ [Каценеленбаум, 1989, с. 65].

Итак, что может дать лингвистический анализ для распознавания демагогии? В дальнейшем мы будем говорить об определенном виде демагогии – демагогии в языке власти, используя которую, она выступает против отдельных граждан (как это имело место в упомянутых процессах), отчуждая их от общества и стремясь убедить других граждан в своей правоте. „Язык власти (энкратический язык)“ – термин Р. Барта. Способность „находить возможные способы убеждения относительно каждого предмета“ Аристотель называл риторикой [Аристотель, 1987, с. 19]. Мы полагаем правомерным, несмотря на то, что Р. Барт считает риторику совершенно чуждой миру современного языка, говорить впрямь именно о *риторике* демагогических обвинительных речей определенного общественно-исторического периода как о сложившейся системе приемов нападения, имеющих целью убедить слушателя в правоте действий власти. Мы видим свою задачу в том, чтобы установить „палаческий“, по терминологии Р. Барта, словарь, с помощью которого власть вершила суд. Элементы этого словаря могут стать своеобразными индикаторами родства различных во времени политических течений.

Анализ стиля обвинительных процессов позволит выявить систему сложившихся идеологических стереотипов или, как их называют, мифологем, ибо, как считают специалисты по массовому сознанию, „стиль отражает устойчивую систему взглядов, ... высвечивает психологию авторов, психологию эпохи“ [Ковельман, 1988, с. 8–10]. Смена стиля, таким образом, обозначает смену взглядов, психологии, наступление „нового мышления“.

Очевидно, одна из основных задач исследования – выяснение тех приемов и средств, которыми осуществляется внушение адресату речи необходимых, с точки зрения власти, понятий, производится, по

образному выражению одного из ученых, „словесный залп по крепости рассудка“.

Аристотель, выделяя три типа риторических речей (совещательные, эпидейктические, цель которых — в порицании или похвале, судебные), отмечал, что каждая речь складывается из трех элементов: „из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается: оно-то и есть конечная цель всего“ [Аристотель, 1987, с. 24]. Рассматривая обвинительные речи, относящиеся к области демагогии, мы постараемся принять во внимание все три указанных элемента. Материалом для анализа нам служили: „Речь государственного обвинителя прокурора СССР А. Я. Вышинского“ на „процессе троцкистско-зиновьевского террористического центра“ (Правда. 1936. № 232), выступления ряда писателей с осуждением Б. Пастернака на Общесоюзном собрании писателей 31 октября 1958 г. (Горизонт. 1988. № 9), ряд выступлений в кампании 1963 г., направленных против И. Бродского, и аналогичные газетные выступления против А. И. Солженицына (ЛГ. 1974. № 3, 8 и др.).

Итак, обратимся к материалу, являющемуся, очевидно, венцом своеобразной „палаческой“ риторики. Время действия — 1936 г., предверие самого кровавого — 1937 г. Обвиняемые — соратники Ленина, бывшие руководители партии и государства, обвинитель — бывший ректор МГУ и будущий академик (1939 г.), осознававший в полной мере трудность поставленной задачи — не имея достаточных доказательств, подтвердить справедливость чудовищных обвинений, выдвинутых Сталиным против старых партийцев, известных всему миру.

Поскольку главным элементом всякой речи является, по Аристотелю, слушатель, выясним прежде всего, кто является адресатом речи? Очевидно, не судьи, которых прокурор обычно пытается склонить на сторону обвинения. Интересными с этой точки зрения представляются заметки очевидца процессов 37-го г. Л. Фейхтвангера. Немецкий писатель, горячо симпатизируя советскому строю и будучи уверенным в справедливости этих процессов, был тем не менее смущен отсутствием убедительных доказательств у обвинения. Он приводит ответ советских граждан, который должен был, по мнению советских властей, развеять сомнения писателя: „...Мы хотим, чтобы весь народ от Минска до Владивостока понял происходящее. Поэтому мы старались обставить процесс с максимальной простотой и ясностью. Подробное изложение документов, свидетельских показаний могут интересовать только юристов, а наших советских граждан мы бы только запутали... Мы вели этот процесс не для иностранных криминалистов. Мы вели его для нашего народа“. Таким образом, адресат речи — народ, масса, вчера еще в подавляющем большинстве малограмотная и поэтому воспринимающая сегодня слова, напечатанные в газете или звучащие из репродуктора, как высшую истину. Какова же цель говорящего? Вернемся к Аристотелю: „... слушатель бывает или простым зрителем, или судьей или того, что уже свершилось, или же того, что

может свершиться” [Аристотель, там же, с. 24]. Это положение представляется нам очень существенным. Заставить согласиться с тем, что произойдет (смертный приговор сподвижникам Ленина) и в будущем принимать как справедливое то, что будет происходить, как разумное все действительное — вот, очевидно, цель говорящего. Цель была достигнута. „Расстрел — фашистам!”, „Белогвардейские вырожденки!” — реакция масс на процесс, отношение их к людям, некогда считавшимся вождями революции.

Каким же был язык власти в указанный период и как она пользовалась им для достижения желаемого эффекта?

Анализ языковых средств в очень пространной речи А. Я. Вышинского позволил выявить некоторые закономерности их использования.

1. Эксплуатация эмотивной и ассоциативной функций слова.

Всякое речевое сообщение, как известно, способно воздействовать на разум, подосознание, чувства слушателя [Воробьев, 1986, с. 128]. На разум адресата речи воздействуют сообщенные факты; подосознание связано с чем-то иррациональным; область подосознания — это сновидения, фантазии, ассоциации; воздействие на подосознание связано с повторением, возможно, незаметным для адресата, тех понятий, которые хотят ему внушить. Эмоции адресата могут быть возбуждены тем, что говорящий, благодаря существующей в языке синонимии языковых средств, выберет эмоционально окрашенные. Такое трехаспектное воздействие речевой единицы можно связать, на наш взгляд, с трехаспектной характеристикой слова (референтной, ассоциативной, эмотивной), даваемой некоторыми исследователями [Блакар, 1987, с. 96]. Референтная функция слова проявляется в идентификации для слушателя явления, названного словом, ассоциативная — в возбуждении ассоциаций у слушателя при восприятии слова. Обычно в основе этих ассоциаций — связи явления, обозначенного словом, с другими смежными явлениями (из того же денотативного пространства). Эмотивная функция слова связана с возбуждением отрицательных или положительных эмоций у слушателя.

Рассмотрим с этой точки зрения, какие функции реализуют номинации, использованные А. Я. Вышинским в применении к обвиняемым.

(1) сидящие здесь на скамье подсудимых люди

(2) преступники и убийцы

(3) банда людей

(4) презренные убийцы

(5) подлые и наглые враги советской земли

(6) презренная, ничтожная, бессильная кучка предателей и убийц

(7) презренная, ничтожная кучка авантюристов

(8) эти взбесившиеся псы капитализма

(9) эти господа (дважды)

(10) лгуны и шуты

(11) ничтожные пигмеи

(12) моськи и шавки, взъярившиеся на слона

- (13) организаторы тайных убийств
- (14) патентованные убийцы
- (15) изменники
- (16) предатели
- (17) патентованные и прожженные обманщики
- (18) злодеи
- (19) притворщик в ослиной шкуре
- (20) преступная шайка (дважды)
- (21) ленинградская зинovieвская банда
- (22) авантюристы
- (23) преступники опасные, закоренелые, жестокие, беспощадные к нашему народу
- (24) взбесившиеся собаки

Из приведенных 24 обозначений только одно имеет дескриптивное значение (1), будучи эмоционально не окрашенным. Все остальные номинации тем или иным способом выражают отрицательную оценку обозначаемого объекта. Эта отрицательная оценка может реализоваться посредством:

а) существительных, совмещающих в своем значении дескриптивную и оценочную часть: *убийца, авантюрист, преступник, лгун, злодей*. Сотношение дескриптивной и оценочной части у них различно: существительное *злодей* обладает преимущественно оценочным значением, ибо не ясно, какое же конкретно действие выполняется лицом, именуемым *злодеем*, очевидно только, что действие это обозначается как зло; значение слова *убийца* в значительной степени дескриптивно, ибо лицо названо так по определенному действию. Приведенные выше существительные, имеющие большую дескриптивную часть, в явном виде не содержат в своем значении оценочной семы [см.: Лассан, 1986]. Лица, обозначенные ими, действуют в определенном отрезке реальной действительности — денотативном пространстве, взаимосвязаны с различными элементами этого пространства, часто вовлеченными в сферу их деятельности (нож становится, например, орудием убийцы). Поэтому существительные со значением лица способны возбуждать при их восприятии у слушателя ассоциации, отражающие связи в том денотативном пространстве, где действует это лицо. Вспомним приводимые В. В. Виноградовым слова А. Герцена: „Названия — страшная вещь... Это убийца“, — говорят нам, и нам тотчас кажется спрятанный кинжал, зверское выражение, черные замыслы...” [Виноградов, 1972, с. 47]. Таким образом, существительные, которые прямо не выражают в своем значении отрицательной оценки, называя лицо по обществу порицаемому действию, стимулируют в сознании слушателя ассоциации, представления, несущие явно отрицательную окраску, например: *организаторы тайных убийств*;

б) оценочных прилагательных, употребленных в составе номинаций в качестве эпитетов: *презренный, ничтожный, подлый, наглый* и т. д. Эти прилагательные называют такие признаки объекта, которые, будучи

этически неприемлемыми для говорящего, вызывают у него отрицательные эмоции. Эти эмоции он стремится передать слушающему. В составе номинаций имеются и прилагательные с определенной дескриптивной частью в значении: *прожженный, патентованный*. Однако они теряют свое дескриптивное значение, начиная восприниматься как показатели высокой степени отрицательного качества. Обращает на себя внимание употребление слова *патентованный*. Словарные значения: 1. Такой, на который имеется патент (патент — документ, удостоверяющий официальное признание чего-л.); 2. Всеми признанный как кто-то. Можно ли до вынесения решения суда утверждать о всеобщем признании обвиняемых убийцами? Очевидно, здесь мы имеем пример того, когда „лгу“ слова. Контекст „патентованные убийцы“ не разграничивает двух значений прилагательного. Оно может восприниматься и в значении: имеющий патент на убийства, занимающийся ими профессионально (напомним: в вину подсудимым вменялось убийство Кирова). Вряд ли слушатели задумывались над значением употребленного слова, но безусловно, оно стимулировало в их сознании отрицательные ассоциации;

в) метафор, построенных на обидных для человека сопоставлениях: *мошки и шавки, ничтожные пигмеи*. Метафорические выражения, не будучи способными идентифицировать именуемый ими предмет, нацелены на одно — вызвать у слушателя в сознании определенный образ, а через него — определенное отношение к обозначаемому объекту.

Таким образом, анализ использованных номинаций лица показывает, что говорящий, употребляя данные номинации, активизирует эмотивный и ассоциативный аспекты слова, создавая в сознании слушающих отрицательный образ обвиняемых.

2. Следующей лингвистической закономерностью построения речи А. Я. Вышинского является „нанизывание“ отрицательных смыслов. Под „нанизыванием“ мы понимаем высокую частоту слов, выражающих отрицательную оценку, и их близкое расположение друг к другу в тексте.

Повторяемость отрицательных семантических компонентов осуществляется:

а) употреблением словосочетаний, все члены которых содержат отрицательные смыслы: *презренные убийцы, преступная шайка, подлые враги*. Можно выделить ряд регулярно повторяющихся отрицательно окрашенных эпитетов при существительных с отрицательной семой в значении:

враг — *коварный, наглый, подлый*;
преступление — *злодейское, чудовищное, кошмарное, ужасное, грязное, тягчайшее*;

убийцы — *злусные, презренные*;

б) семантической корреляцией ключевых слов с другими словами в тексте. Под ключевыми мы будем понимать в данной речи слова, наиболее часто встречающиеся при характеристике вины подсудимых. К ним

относятся: *убийца, предатель, враг, обманщик, преступник*.

Действительно, значения большинства приведенных выше обозначений распределяются по группам, члены которых объединены общим семантическим компонентом, передаваемым ключевым словом:

- 1) *убийца* – (2), (4), (6), (13), (14), а также по ассоциации (18);
- 2) *предатель* – (6), (15), (16);
- 3) *обманщик* – (10), (17), (19);
- 4) *преступник* – (2), (3), (20), (21), (23).

В тексте речи имя *убийца* соотносится со словами того же корня – *убить, убийство*. Слова с этим корнем встречаются в речи более 60 раз. С *убить* соотносится по значению слово *террор* (*террор* – физическое насилие, вплоть до *убийства*). *Террор* и его производные употребляются при характеристике деятельности обвиняемых более 80 раз (напомним еще раз: в арсенале обвинения имеется только одно *убийство*). *Обманщик, предатель* семантически коррелируют с весьма часто встречающимися в тексте словами *вероломство, измена, коварство, двурушничество, маскировка*. *Преступление* можно соотнести с обладающим высокой частотностью словом *злодеяние*. Деятельность подсудимых характеризуется также словами *кощунство, низость, мерзость*, эпитетами *зловещий, кошмарный, чудовищный, ужасный, грязный, позорный*, вызывающими резко отрицательное отношение к характеризующему объекту.

Подобным способом обеспечивается высокая повторяемость отрицательных семантических компонентов в тексте. Г. Воробьев в книге „Кибернетика стучится в школу“ рассказывает об одном достаточно грубом способе воздействия на подсознание по принципу тахтоскопа. Если в кинофильме каждые пять минут посылать импульс с экспозицией 0,003 секунды, зритель ничего не заметит, а подсознание примет. Опыты, проводившиеся в США, с одиночными кадрами в киноленте „Пейте кока-колу“ показали, что зрители стали покупать этот напиток по выходе из кинотеатра чаще, чем раньше [Воробьев, 1986, с. 132]. Нам представляется, что при рассмотренном выше способе словесного воздействия на слушателя происходит такая же атака на подсознание отрицательными смыслами, как и при воздействии тахтоскопа.

Еще один способ нанизывания отрицательных смыслов – словесные повторы в начале последовательно расположенных фраз: „Ужасна и чудовищна цепь этих преступлений... Ужасна и чудовищна вина этих преступников и убийц... Чудовищны преступления этой банды людей... Но как бы ни были чудовищны эти преступления...“ Четыре фразы, следующие одна за другой, начинаются одними и теми же оценочными прилагательными, выполняющими роль сказуемого. Субъективный порядок слов, придающий речи взволнованность, имеет здесь своим следствием то, что отрицательно окрашенные слова, вынесенные в начало фразы, запоминаются больше других. Ораторам известен эффект начала и эффект конца: наилучшим образом запоминается то, что сказано в начале и в конце. Четырежды повторенное сочетание „ужасна и чудо-

вищна́' должно остаться в памяти, хотя содержательная сторона фраз может забыться.

Таким образом, подобный прием нанизывания отрицательных смыслов является способом выработки у слушателя на уровне подсознания общего отрицательного отношения к предмету оценивания.

3. „Поляризация“ эпитетов – следующая особенность анализируемого текста. Если при описании „врагов народа“ употребляются самые уничижительные, уничтожающие эпитеты, то при описании всего того, что этим „врагам“ противопоставит, используются слова, выражающие превосходную степень замечательных качеств, например: „Презренная, ничтожная кучка авантюристов пыталась грязными ногами вытоптать лучшие благоухающие цветы в нашем социалистическом саду“; *самые лучшие из лучших людей* (о государственных деятелях); *безграничная любовь миллионов масс к нашей партии, славные сподвижники, светлый* (о Кирова, его улыбка, о жизни Советской страны); *невиданные успехи, недостижимы ни в одной капиталистической стране, замечательные, талантливейшие* (о государственных деятелях); *гигантское улучшение, непревзойденная великая любовь*.

При характеристике страны, врагами которой якобы являются подсудимые, используются выражения, ставшие клише: „цветет наша страна“, „колотся золотым хлебом колхозы“, „несокрушимо, как гранит, стоит на страже родных границ Красная Армия“, „счастливая и радостная жизнь“, „родная большевистская партия“, „несокрушимое единство и сплочение народных масс“ и т. п. Суть подобного приема очевидна: преступление, отнесенное высочайшими достоинствами тех, против кого оно направлено, должно представляться еще более ужасным. С другой стороны, в этом риторическом приеме, возможно, находят косвенное отражение экстралингвистические процессы – поляризация общественных групп. Группа, которая присвоила себе право уничтожить другую „как класс“, должна предстать обладателем контрольного пакета акций на все добродетели.

Словесные клише, выражающие положительную характеристику, призваны создавать определенные стереотипы представления действительности: стереотип счастливой жизни трудящихся, могучей державы с непобедимой армией, сплоченности народа и его единства с партией. Идея единства связана с интересным речевым феноменом – употреблением слова *наш*, которое по частоте может конкурировать с самыми частыми словами текста – *убить* и *террор* (более 70 раз). Несмотря на высокую частоту, круг употребления этого слова весьма ограничен – оно встречается только в сочетаниях типа: *наш (великий) народ, наша (родная) партия, наша (великая социалистическая) страна, наше общество, наш ЦК, наше (великое) дело, наша советская земля, наше (советское) правительство, наш враг, наш советский режим*. Результатом столь частого употребления слова *наш* в указанных контекстах является, на наш взгляд, создание определенного психологического эффекта сопричастности народа официальным структурам. Если партия представляется *нашей родной*, то тот, кто выступает против ее

вождей, предстает *нашим* общим врагом.

4. Эффект „расчеловечивания“. В противоположность блоковскому желанию „все сущее вочеловечить“, в анализируемой речи наблюдается стремление, которое мы бы назвали „расчеловечиванием“. Номинативы, используемые при обозначении обвиняемых, как бы выводят обозначаемый объект из общности людей: преступники, *потерявшие последний человеческий облик, самые разложившиеся бесчестные элементы, моськи и шавки, взбесившиеся псы капитализма, бешеные собаки*.

Переход в „нечеловеческое“ подчеркивается и специфическими характеристиками состояния обвиняемых: *звериная злоба и ненависть, животный страх*. Таким приемом (метафорой, содержащей аналогию с животными, использованием неодушевленного имени) можно привить слушателю сознание того, что перед ним уже не люди – „элементы“, сострадание к которым невозможно.

Нужно сказать, что современный русский бюрократический язык пользуется таким же способом именования действующих лиц теми неодушевленными существительными, которые применяются в языке и для обозначения неодушевленных объектов: *человеческие ресурсы, уголовные элементы*.

Отмеченные особенности построения речи относятся к числу приемов воздействия на слушателя, благодаря которым говорящий пытается пробудить в адресате речи определенные ответные эмоции и, таким образом, заставить его принять соответствующую точку зрения. Очевидно, чем менее образованна аудитория, чем недоступнее ей речь, основанная на знании, тем больший успех будут иметь подобные приемы. Нам представляется, что приемы эти достаточно универсальны: может меняться словарь обвинения, но активизация эмотивной и ассоциативной функций слова, нанизывание оценочных смыслов, поляризация „добра“ и „зла“ через языковые эпитеты, очевидно, есть общедоступный путь приведения к своей точке зрения. И все-таки: „... не следует, возбуждая в судье гнев, зависть и сострадание, смущать его: это значило бы то же, как если бы кто-нибудь искривил ту линейку, которой ему нужно пользоваться“ [Аристотель, 1978, с. 16]. Справедливость этого суждения подтверждает судьба М. Кольцова, К. Радека и многих других, внесших в свое время вклад в дело „искривления линейки“.

Таковы основные особенности построения речи А. Я. Вышинского. Очевидно, представляет интерес вопрос об истоках и процессе формирования риторики подобного рода. Но не меньший интерес заключается и в том, чтобы проследить степень ее „живучести“ и выявить причины ее жизнеспособности. Мы ограничимся в данной работе лишь выявлением рецидивов „палаческого“ стиля и некоторыми его видоизменениями.

1958 г. Осуждение Б. Пастернака.

Набор понятий, используемых при обвинении поэта, выражается словами того же словаря: *предатель* („История Пастернака – это история предательства“), обвинение реализуется через используемый

многими ораторами образ Иуды („Иуда — вон из СССР“), в это же время начинает использоваться популярное и в более позднее время сравнение писателей „отступников“ с генералом Власовым („Пастернак — литературный Власов“); *враг* („40 лет среди нас жил и кормился человек, который являлся нашим замаскированным врагом, носившим в себе ненависть и злобу“, — здесь абсолютные текстуальные совпадения с обвинениями из речи государственного обвинителя эпохи 1936 г.: *обманщик* („Роман — прямая клевета на новую действительность“). Б. Пастернаку нельзя вменить в вину физическое убийство, но в обвинении это присутствует через ассоциативно связанные с именем *убийца* характеристики: „может нанести тебе удар в спину“, „держит нож за пазухой“ и др. Номинация *преступник* не используется непосредственно в речах обвинителей, но предложение с „гражданской казни“ Пастернака является логическим продолжением мысли о содеянном преступлении.

Можно отметить и общность других приемов воздействия на слушателя: частое повторение одних и тех же лексем с оценочными смыслами, эксплуатация эмотивной и ассоциативной функций слова. Наиболее частыми являются слова: *враг, предатель*, эпитеты *поганый, омерзительный, гнусный, грязный, подлый, бешеный*. Присутствует эффект „расчеловечивания“: „собака лает, карваан идет“, „в литературе без лягушек лучше“, „дурную траву с поля вон“. Пастернак сравнивается также с петрушкой, марионеткой. Наблюдается поляризация эпитетов: для характеристики сил, противостоящих писателю, используются эпитеты *изумительный, высокий, лучший, умно, тонко, талантливо*. Противопоставление „отщепенца“ единству и сплоченности советских людей подчеркивается употреблением *наш* в сочетаниях *наш советский народ, наш советский образ мышления, самые ненавистные наши враги*.

Как видим, спектр обвинений и характер словесных выражений в выступлениях 1956 г. в большой степени совпадают с приемами обвинения 1936 г.

1963 г. Дало И. Бродского.

Поэту не инкриминировалось политическое преступление. Он обвинялся в тунеядстве, за что и был осужден. Но и здесь в выступлениях прессы можно встретить знакомые мотивы: обвинение в предательстве („... им долгое время вынашивались планы измены Родине“, „... вынашивает планы предательства“); „расчеловечивание“: „окололитературный трутень“, „лягушка возомнила себя Юпитером“; минимизация отрицательных смыслов, активизация ассоциативного и эмотивного компонентов („этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Олимп“ Ср.: „ничтожные пигмеи“ А. Я. Вышинского).

Хотелось бы, анализируя данный материал, обратить внимание на очень популярный, независимо от направления общественной мысли, полемический прием эпохи: отсутствие указания на субъект оценки. Когда авторы статьи „Окололитературный трутень“ говорят о „завогаильных, клядбищенских стихах“ И. Бродского, называя поэта „за-

равшимся наглцом”, они, очевидно, используя оценочные слова, выражают свою субъективную оценку творчества и поведения поэта. Однако субъект оценки в данном случае не эксплицируется, и индивидуальная оценка, которая может быть реализована через выражение *по-моему, я считаю* и т. п., предстает как „истинная в „реальном мире” и не имеющая субъекта” (Вольф, 1985, с. 79). Такая подмена субъекта оценки – весьма распространенная форма лжи в текстах обвинительного демагогического характера.

1973 г. Дело А. И. Солженицына.

Набор основных обвинительных понятий: *враг* („враг мира и прогресса”, „классовый враг” и т. д.); *предатель* („литературный власовец”), *обманщик* („сочинитель злобных пасквилей”, „... стремится обмануть советский народ”), *убийца* („словесные пули, отравленные клеветой и злобой”, „чарнила-яд”), *преступник* („адвокат и единомышленник преступников”). Присутствует эффект „расчеловечивания”: „при свете дня рептилии всегда выглядят отератительно”, „... дергается, кривляется марионетка”.

Итак, проходят десятилетия, но стили обвинения несправедных процессов обнаруживают свое родство. Почему? Очевидно, потому что стоящие за стилями системы взглядов близки друг другу. Вопрос о причине мировоззрений относится не к компетенции нашей науки или во всяком случае не одной нашей науки.

Сохраняет ли наша эпоха рецидивы предшествующей риторики?

Вот некоторые речевые образцы обвинений в адрес оппонентов из выступлений участников VI пленума правления Союза писателей РСФСР 13–14 ноября 1989 г.: *слон идет, шавка лает* (о журнале „Октябрь” и его редакторе А. Ананьеве); *это действительно дурачьё какое-то! Недоразвитое!* (о тех же); *отравленные пули, отравленная болтовня, дуэлянты пасквильного типа, клеветнические опусы, космополиты, грязные слова, клеветники, беснующиеся люди произносят чудовищные слова о России и русских* (о писательском комитете „Апрель”), *чудовищный комитет* (о нём же), *заявление, полное глухой злобности* (о заявлении „Апрель”).

Знакомые слова из „палаческого” словаря...

ON THE POWER OF THE LANGUAGE AND THE LANGUAGE OF THE POWER

E. LASSAN

Summary

The article discusses the peculiarities of the language style of the political processes in the period of 1930–1989. Analysis of the style permits to reveal the system of views, i.e. ideological stereotypes. The vocabulary of the power against the citizens of its country comes out. Linguistic means and psycholinguistic methods used by the power had an effect upon the minds and thinking of its citizens.

ЛИТЕРАТУРА

- Аристотель, 1978 — А р и с т о т е л ь. Риторика // Античные риторика. М., 1978.
- Барт, 1989 — Б а р т Р. Семiotика и поэтика. М.: Прогресс, 1989.
- Блакер, 1987 — Б л а к а р Р. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия действительности. М.: Прогресс, 1987.
- Булыгина, 1981 — Б у л ы г и н а Т. В. О границах прагматики // Изв. АН СССР, СЛЯ, 1981, № 4.
- Вайрих, 1987 — В а й р и х Х. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия действительности. М.: Прогресс, 1987.
- Виноградов, 1972 — В и н о г р а д о в В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слов. М., 1972.
- Вольф, 1985 — В о л ь ф Е. В. Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985.
- Воробьев, 1986 — В о р о б ь е в Г. Кибернетика стучится в школу. М., 1986.
- Каценеленбаум, 1989 — К а ц е н е л е н б а у м Б. Демегогия: опыт классификации // Наука и жизнь. 1989, № 9.
- Ковельман, 1988 — К о в е л ь м а н А. Б. Риторика в тени пирамид. М.: Наука, 1988.
- Лассан, 1986 — Л а с с а н Э. Р. О вырвжении отрицательной оценки именами существительными со значением лица // Кальтуга (Языкознание). 1986, № 37 (2).
- Остин, 1986 — О с т и н Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистика. М.: Прогресс, 1986. Вып. 17.

Вильнюсский университет
Кафедра русского языка

Январь, 1990